

Марк Харитонов
УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ

Серия «Самое время!»

Новый роман Марка Харитонova читается как увлекательный интеллектуальный детектив, чем-то близкий его буковскому роману «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Герой-писатель пытается проникнуть в судьбу отца, от которого не осталось почти ничего, а то, что осталось, требует перепроверки. Надежда порой не столько на свидетельства, на документы, сколько на работу творящего воображения, которое может быть достоверней видимостей. «Увидеть больше, чем показывают» — способность, которая дается немногим, она требует напряжения, душевной работы. И достоверность возникающего понимания одновременно определяет реальный ход жизни. Воображение открывает подлинную реальность — если оно доброкачественно, произвольная фантазия может обернуться подменой, поражением, бедой. Так новая мифология, историческая, национальная, порождает кровавые столкновения. Герои повести «Узел жизни», как и герои романа, переживают события, которые оказываются для них поворотными, ключевыми. «Узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия»), — Осип Мандельштам сказал как будто о них.

УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Здесь кто-то мертвый

Как всегда в утренние часы, вагон метро был переполнен. Борис с трудом втиснулся в дверь, сзади на него надавили еще. «Проходите, другим тоже надо ехать», — началась ритуальная переключка. «Если б было куда». — «Там дальше полно свободного места». Створки за спиной сошлись, поезд, дрогнув, тронулся. Вошедшие понемногу умялись — упорядочились, совместились частицы. Борис приподнялся на цыпочки, посмотрел поверх голов. В середине вагона действительно было пусто. Откинувшись к стене и развалившись сразу на двух сиденьях, там спала тучная, дурно одетая женщина. Рот ее был приоткрыт, нечесанные седоватые космы выбивались из-под пятнистой косынки, под глазом темнел синяк. Только тут Борис ощутил неприятный запах, это он высвобождал вокруг нее пространство, отталкивая людей в тесноту.

— Пропустите слепого... дайте мне сесть, — требовал вошедший перед Борисом щуплый мужчина. Из-за низкого роста ему приходилось говорить в чью-то спину, голос звучал придушенно. Плотно сжатые тела непонятным образом сумели перегруппироваться, слепец продвинулся вперед, втягивая за собой Бориса.

— Почему таких пускают в метро? — вычленялось из механического гула.

— Я ее тут второй раз вижу.

— Чем от нее несет?

— Вчера на том же месте сидела, я видела.

— Катается по кольцу, отсыпается.

— И никто не высадит.

Слепец, как маленький ледачок, протискивался перед Борисом дальше, наконец, палкой нащупал перед собой пустоту — и вдруг остановился.

— Здесь кто-то мертвый, — проговорил отчетливо.

На мгновение все умолкло, переваривая сказанное. Потом раздался сдавленный женский вскрик.

— Мертвый?

— Она мертвая!

— Вчера на том же месте сидела.

— Почему не высадили?

— Она тут и на прошлой неделе сидела.

— Надо же сказать.

— Что там? — переспрашивали на отдалении.

— Нажмите кнопку, вот там, скажите машинисту.

— Остановите поезд!

— Что?!

Борис ухватился за блестящую перекладину. Бледные, неясные лица, покачиваясь, смотрели впадинами невидящих глаз из-за черного стекла, из подвижной мерцающей темноты в затылок мертвому телу, мчась вместе с ним под землей, по кольцу без конца; одно из лиц было его собственным. Голоса растворялись в равномерном потряхивании. Слепой почувствовал, понял. Он один. Не видеть, закрыть глаза, чтобы дошло...

Перестук, утробный гул, повизгивание, скулеж, и вот уже вой оставшихся без божества, голодных, непонимающих, брошенных взаперти. Щенка, совсем маленького, голые уши-блинчики, надо было отбить у бомжей, а то бы съели. Всем надо есть, но бомжей хоть кормят в специальных столовых, а этим, своим, не довезла корм на неделю, раздутая клетчатая сумка у ног. Тоскливые, потерянные, ожидающие, безумные глаза, им не вообразить смерть божества и что сейчас к ним ворвется, взломав дверь, соседи дозваниваются до милиции, больше терпеть не намерены, всё, собаки ей дороже людей, гуманистка, себя во что превратила, это дело ее, но вонь растекается через стены, а теперь еще и это... вонь, вой, гул...

Расползается, исчезает... не ухватить, не удержать. Перешепоты перестука. Я не видел, но знаю. Откуда это? Не видел, но знаю. Спор футбольных болельщиков на дворовой скамейке. За что он назначил пенальти? Ничего же не было. Была подножка в штрафной. Какая подножка? Откровенная симуляция. Ты же не видел. А ты, что ли, видел? По радио говорили. Слушай другое радио. Страстный диспут слепых. Отблескивают непрозрачно очки, ладони скрещены на палках, подбородки в седой щетине вскинуты к отсутствующим небесам, слух напряжен, бескровные лица. Не обязательно видеть, чтобы переживать, азартно обсуждать репортажи, мнения, слухи, передвижения по возникающей из себя самой таблице. Что переживаешь, то становится реальностью.

Пронесло, возвращаешься непонятно откуда с чувством странного головокружения. Стало с некоторых пор повторяться, особенно после маминой болезни, когда словно вдруг обновились чувства. Готов, кажется, понять, увидеть — явственно, достоверно. Все-таки, значит, способен. Увидеть

больше, чем показывают. Не удастся лишь закрепить, выразить... растворяется, тает. Глаза снова открыты. Непроницаемые затылки, недоступные, замкнутые миры, взгляд упирается в плешь слепца. Смотри, что видишь. Ощущение потери, несостоявшегося события. Утерянного или еще не найденного? Еще не созданного. Мчимся в общей тесноте, куда несет, не выскочишь, привычный воздух не пахнет. Нам мерещится возможность чего-то более полноценного, чем беспамятная повседневность, говорил ты женщине, еще совсем незнакомой, вы вместе шли из больницы, где возвращалась к жизни мама, и ты сам, казалось, стал заново ощущать жизнь, не удавалось совпасть шагом, а ты философствовал, как будто хотел не просто произвести впечатление — удержать ее словами, чтобы не исчезла вместе с оживавшими вокруг запахами. Жизнь, которую мы создаем для себя, для других — назовем это работой воображения. Все это умеют по-разному, но без этого не ощутить себя живущим по-настоящему. Утраченное и не созданное одинаково не существуют. Вот, едешь сейчас участвовать в программе... как она называется? «Расширение реальности»? Или «Реальность для всех»? Надо будет еще уточнить.

2. Grimасы воображения

Было так: ему представилась однажды возможность подрабатывать, участвуя в платных опросах. Халява нового времени: маркетинговые компании выясняли отношение потребителей к продукции фирм. Надо было пробовать разные сорта пива или супы быстрого приготовления, оценивать качества, отвечать по анкетным пунктам, как ты часто их потребляешь, что тебе в них нравится, какие есть пожелания. Непыльный до бесстыдства заработок, литература теперь так не кормила. Популярный еженедельник, в котором Борис Мукасей больше года вел постоянную колонку о том о сем, лопнул вместе с бизнесом спонсора. Искать новое место Борис медлил, пока еще оставались деньги. Перечитывать собственные недавние словеса стало вдруг как-то противно: все равно, что жевать покрашенную в цвет травы стружку. Знакомых он предпочитал избегать, знал, что за ним утверждается репутация то ли чистоплюя, расслабленного недолгим успехом, то ли, скорей, исписавшегося лентяя, из тех, что оправдывают свою неспособность идейной брезгливостью. Такой был этап самочувствия.

Платные опросы устраивали Мукасея тем, что не имели отношения к литературе, тут было не зазорно лукавить. Насчет подлинной цены своих стараний он не обольщался, гладкие мальчики из компании подсказывали ответы достаточно откровенно: пиво он пьет не меньше двух раз в неделю, предпочитает «Балтику», из бульонных кубиков — «Магги». Сам-то он пивом давно не увлекался, предпочитал вино. Впечатления было не так уж трудно изображать. Литературный инстинкт между тем не совсем, оказывается, уснул. Нечаянно шевельнулся однажды сюжет о человеке, который ухитрялся зарабатывать такими опросами, вообще не различая вкусы и запахи, с этого началась его фантастическая карьера в рекламном бизнесе. Повествование можно было вести от первого лица, но Борису показалось, что-то удастся лучше понять, почувствовать, если передать собственные мысли постороннему персонажу: проще было ничего не скрывать от себя самого, наоборот, откровенничать до распахнутости, до несправедливого к себе преувеличения.

Похоже, он не совсем осмотрительно стал словно бы на пробу, перед зеркалом, строить рожи своему воображению. Слишком сумел, как сказали бы люди театра, вжиться в образ? Если бы просто так! Его навещало иногда чувство — и он об этом уже писал — что игры ума бывают не совсем безобидны, они норовят то и дело материализоваться, с ними надо быть осторожней. Вот и тут, прислушиваясь к себе, Борис в самом деле начинал замечать за собой какую-то нарастающую нечувствительность. Такое бывает при насморке, но сопливый нос был бы замечен, его бы от кормушки прогнали. Теперь ощущения все чаще приходилось попросту сочинять — по воспоминаниям или догадке. Вынужденная наглость оказалась сродни вдохновению, деньги были нужны, фирмачи оставались довольны. Искренность их интересовала меньше всего.

Что-то в устройстве организма сыграло с Борисом злую шутку. Денежная халява закончилась, а вкусы и запахи для него, оказывается, совсем перестали существовать. Как будто начисто атрофировались, онемели пупырышки на языке, нервные окончания в ноздрях. Безразличной стала еда — жевал по привычке, едва замечая, сосиски или что там еще, неизвестно из чего, неважно, приходилось довольствоваться чувством тяжести в желудке и считать это насыщением. Да если бы только еда! Исчезла тяга к удовольствиям, развлечениям, женщины не вызывали неподдельного природного интереса — умственные воспоминания, инерция

разглядывания, не более. Это при затянувшемся-то после второго развода безбабье!

Назвать ли это утратой вкуса к жизни? Он еще не принимал случившегося всерьез. Временный сбой, недоразумение, наладится само собой, можно поискать способ. Карьерные фантазии к себе он мог только примерить, увы, не те были способности. Борис попробовал вместе с героем смотреть по телевизору кулинарные передачи, однако сцены сервированного чревоугодия, улыбки рекламного наслаждения (воздыхание, взгляд к небесам, кончик влажного языка по губам) не вызывали ответных чувств, даже малейшего слюноотделения. Так ведь и кадры взыскательных страшных событий давно не вызывали никаких чувств, констатировал попутно герой. Можно было за ужином сколько угодно лицезреть катастрофы, пожары, изуродованные, окровавленные, обугленные трупы, и это не портило аппетита. Когда он еще был. Вот если бы в катастрофу попал кто-то из близких? — примеривал Мукасей литературное разрешение — и подбирал слова про кислый привкус залитых водой головешек, который должен же был вот-вот ожить в слюне, про запах бензина, растекшегося по асфальту среди пятен крови... Увы, слова все никак не соединялись ни с чем, что можно было вдохнуть, пережить.

Он начинал не на шутку нервничать. От мысли обратиться все же к врачу отвлекла внезапная болезнь мамы. Навестив ее за два дня до инсульта, Борис застал в доме непонятного гостя. Под мятым нечистым пиджаком ветхая шерстяная кофта, на ногах почти новые голубые кроссовки — такие можно подобрать у мусорных ящиков. Щеки в седой щетине, готовый стать неряшливой бородой, пористый нос, воспаленные влажные ноздри, нижняя губа обвисла, гречишная россыпь на руках вызвала мысль о не вполне проявленном шрифте, на правой руке не хватало указательного пальца. Старик уже успел захмелеть — мама зачем-то выставила на стол заветный семейный лафитник, всегда держала его заполненным на всякий случай, для сыновей. Навстречу вошедшему Борису с трудом встал, потянулся облобызать, пошатнулся (тот успел уклониться), осел на стул, едва не утерев равновесие. Сынок, забормотал, засмеялся рассыпчато, сипло, сынок. Я же тебя никогда не видел.

Мама переводила взгляд с одного на другого, растерянная, ошеломленная. До Бориса постепенно дошло: это был давний знакомый отца, выступал с ним когда-то на эстраде. Отец

исчез еще до его рождения, бесследно, мама продолжала верить, что тот рано или поздно вернется, не с гастролей, из какой-то командировки, секретной, он обещал, а его слова были не просто обещанием, он заранее все знал, только не всегда говорил. Это был ее многолетний, пожизненный сдвиг, объяснять ей невозможность возвращения спустя почти полвека было бесполезно, она сама вслух об этом уже не заговаривала, знала, какое производит впечатление, в остальном держалась вполне адекватно. Теперь пришелец из давнего прошлого, похоже, вновь смутил ее бедный ум. В бутылке из-под кефира пыталась ожить уже поникшая белая роза, гость увидел ее по пути, за стеклом цветочного магазина, продавщица отвлеклась, не заметила, когда он вошел, вынул из вазы без спроса, она вдруг стала орать на него так, что он от неожиданности стебель слегка надломил, немного, да? Уплатить он, конечно, не мог, а главное, объяснить этой дуре, почему ему роза так оказалась нужна, хорошо, хоть в милиции поняли, не стали у него отнимать, там же не идиоты, чтобы возиться с больным, отпустили. Забыл, как эта болезнь называется, неважно, что-то сделали с моей памятью, врачи, я знаю, кто? целый научный институт занимался моими мозгами, но ведь доехал, как видишь, до Москвы — и тут опять отключилось, погасло, как зовут маму, зачем приехал в незнакомый город. Никакой врач не объяснит, что и как переключается у некоторых в мозгу. Это чудо, что увидел розу, вдруг вспомнил, как тебе приносил такую, да, Роза? имя вспомнил, потом улицу, то есть дорогу даже не вспоминал, ноги нашли сами, у них, у ног, наверно, своя память, осталось только узнать дом, эту комнату, даже этот зеленый лафитник... все начало оживать... сынок, снова тянулся бессмысленно. Старик был явно тронутый, не просто пьян. Но самое-то главное, дошел он, наконец, до главного, я маме уже рассказывал, вот в чем действительно идиотизм, в чем смех или горе, он поехал сюда, в Москву, чтобы показать Розе тетрадку, на которой все успел записать для памяти, пока не забыл, теперь своими словами он ничего пересказать не мог, потому что надолго не запоминал, и вот все как будто растаяло — оказалось, что тетрадки-то у него с собой нет, главное забыл взять, оставил, наверно, на столе, хорошо если не потерял, вот что такое память больного идиота. Был такой анекдот, как он начинался?..

Борис скоро перестал вникать в эту многословную невнятицу, для него все отчетливей прояснялось, что заблудившийся в памяти бедолага уже настроился здесь у

мамы и задержаться, заночевать, а там, может, и остаться, другого выхода он не знал, уехать без денег не мог, еврейская женщина не прогонит. Так прямо он этого не говорил, он вообще ничего не говорил связно. Вдруг засмеялся — вспомнил все-таки анекдот. Анекдоты почему-то он помнил. Больные договорились бежать из сумасшедшего дома, все продумали, приготовили веревки, чтобы перелезть через высокий забор, утром один смотрит в окно и кричит: побег отменяется, забор снесли. Смешно, да? Анекдот помню, а главное забыл. Что теперь делать? Вернуться за своей тетрадкой, подсказал Борис. Ну да, а денег на обратный билет нет, засмеялся опять пьяненько, еще не оценил, что сказанное было всерьез, это называется еврейский юмор, сюда приехал, а вернуться нет денег...

Борис как раз шел к маме с деньгами, поспешил воспользоваться поводом, чтобы избавить ее от безумного, тягостного вторжения, тотчас предложил старику на билет, если ему нужно вернуться к себе, ведь нужно, да? сейчас позвоним на вокзал, вдруг есть билеты, зачем медлить, пока я свободен, а деньги, вот, хватит, если надо, в оба конца, с запасом, да не беспокойтесь, отдадите потом. На какой вам вокзал?..

В памяти почему-то остался прощальный, непонимающий, просительный взгляд мамы: ты что, его уводишь? Сделано было, конечно, грубовато, ближайший поезд, как выяснилось, отходил через два с половиной часа, билеты в кассе были, не курортный сезон, он вызвался тут же сам старика проводить. А чего бы она хотела другого? Чтобы этот умственный инвалид у нее остался? Он сам бы не ушел, не смог, и что дальше? Растянутый абсурд трудней оборвать, он всех начинает затягивать, как пьяный разговор начинает затягивать трезвого, противопоставлять ему другую логику так же бессмысленно, как распутывать безнадежные узлы — их можно только рассечь.

Борис, надо сказать, исполнил все честно, оказал, если угодно, социальную помощь, ни в чем не мог себя упрекнуть. (Мысль о возможности пристроить беднягу в какое-нибудь специальное заведение пришла уже задним числом, но ведь где-то он жил, лучше было вернуться к себе, в обжитое теплое место, чем в сомнительную богадельню, а скорей в скорбное медицинское учреждение, с неизвестными последствиями, да представить себе затяжные хлопоты!) Взял на плечо замызганный рюкзак старика, мама наспех напихала в него продуктов, вышел с ним вместе на улицу, осторожно

временами поддерживая, чтоб не упал. Хорошо, что запахов он тогда не чувствовал, мог только представить, как несло от этого бомжа мочой, грязным прокисшим потом, но вести его под руку все-таки брезговал (могли быть и вши), пропускал мимо ушей попытки невнятного разговора, поддакивал автоматически. Там, в тетрадке, все записано, ты увидишь. Мне вредно пить, у меня в голове стало путаться. Главное, что уже все написано. Этого не перекачать по проводам из мозга в мозг, как они думали, или по каким-то волнам. Они там искали способ вывести породу счастливых идиотов. Знаешь, как у нас дятла скрестили со слоном? В насекомых попасть не может, зато деревья валит с одного удара. А? — посмотрел торжествующе. Анекдоты помню, а что надо, забываю. Вдруг, остановившись, стал бормотать, что поезда в ту сторону, кажется, давно не ходят, рельсы заросли бурьяном. Куда в ту сторону? Сюда же вы доехали? — не стал прояснять невнятицу Борис. Доехал, да, вынужден был подтвердить старик. И внезапно замкнулся, сник, череп прикрыт серой лыжной шапочкой. Как будто, ощутив непреклонность тона, вспомнил про самолюбие. На вокзале Борис довел его прямо до кассы, вызвался купить для него билет сам, но тот его сухо отстранил, сунул в окошко взятые у Бориса деньги. Такой станции нет, услышал Борис, деликатно, а впрочем, безразлично стоя в сторонке. Как же нет, сейчас покажу... старик стал искать по карманам, извлек какую-то мятую бумажку. С поездом и впрямь повезло, не пришлось долго ждать, завел старика прямо в вагон. Тот попрощался холодно, за руку, словно совсем протрезвел (пальцы вялые, неживые). Денег Борис ему дал щедро, не поскупился, мог потом честно отчитаться перед мамой по телефону.

Почему же оставался осадок, будто сделано было что-то не так? Словно чего-то не почувствовал, не постарался внимательней задержаться, вникнуть в хмельную невнятицу. А во что тут вникать, отвечал сам себе — или какому-то постороннему голосу, без окраски и тембра, но, впрочем, похожему на свой, когда становился слегка насмешливым. — Мог бы расспросить по пути про отца, ты же про него почти ничего не знаешь. А они ведь были близко знакомы, вместе выступали. — Шевельнулась такая мысль, да. Но чего можно ждать от сдвинутой памяти? Опять слушать бред про тетрадку, без которой ничего не вспомнить? Пустое дело. — Как знать, как знать? Ты когда-то был любопытней. Не нашлось желания, не захотелось лишних хлопот. Какую,

кстати, бумажку он сунул в окно? Теперь ведь нужен паспорт, не поинтересовался? — Какая, в конце концов, разница? — Вот, вот. Еще и эта способность онемела, как при наркозе...

Голос стихал, растворялся вместе с очертаниями комнаты. Бесшумно обваливалась стена незнакомого дома, открывая жилые ячейки, ветер гнал по мостовой бумажные листы, никак было их не удержать, не поймать... Закатное солнце прорвалось в окно, ослепило... все опять исчезло, не объясненное...

Если б только он мог потом без сомнений ответить, что мамин insult никак не был связан не просто с неточным поступком, с нелепым, болезненным недоразумением — с каким-то движением мысли, недодуманным, непозволительным, произвольным!

3. Свой воздух

Из приемного отделения Розалию Львовну по недосмотру сыновей сунули сразу в какую-то жуткую палату для безнадежных. Не прорвались за каталкой скорой помощи дальше, смутились медицинского запрета, доверились белым, но, впрочем, теперь больше голубым халатам, буркающим отговоркам профессионалов, а скорей всего, от растерянности не уловили, не поняли беззвучного намека, без слов, без откровенного мусоления пальцев. Остаточная советская наивность, назовем ее интеллигентской, опыт еще не был накоплен. Еще не имели дела с больницей, где постельное белье полагалось приносить из дома и лекарства покупать за свой счет. Пришлось запоздало похлопотать и потратиться, чтобы ее перевели из этого вонючего преддверья мертвецкой, как выразился брат Бориса, Ефим. Сам Борис, исполняя долг бесполезного дежурства у маминой постели, не чувствовал вообще ничего. Если бы только вони — хуже: ужаса близкого, почти неизбежного исхода. Когда-то сам ожидал на каталке в приемном покое «скорой помощи», пока врачи им займутся, и человек на каталке рядом говорил неизвестно кому, сам себе или ему: а я, может, не хочу, чтобы меня лечили. Мне, может, хватит, пожил. Еще не старый, лет пятидесяти, выбрали на улице без сознания. А он, Борис, стал убеждать, что так неправильно, нельзя, надо сопротивляться, оставалось только объяснить, зачем. Эта безвольная готовность заранее примириться с потерей, сознавал он, сродни безразличию — той же бесчувственности, она обесценивала, обескровливала саму

жизнь: что же в ней ценить, за что держаться, если оказывается все равно? Невнятное мычание с соседней кровати, бесформенное тело слабо шевелится под запачканной простыней, другое тело, у стены, уже неподвижное, громоздкое, укрыто с головой, вошедшие санитары перекладывают его на тележку, натужно крикая, словно тело прямо в их руках тяжелело, рыхлая нога в желто-синих пятнах, не удержавшись, свесилась, выпросталась из-под простыни. Кто жив, тот чувствует, а кто уже не чувствует... нет, не так, это еще раньше надо было убрать, заменить, ведь можно. Кто-то, пользуясь его головой, перебирал вместо мыслей чужие слова или строчки, не то, все было не о том, не так сочинил, не так подумал, не вычеркнул вовремя, теперь поздно.

Мама, однако, сверх ожиданий пошла на поправку, удивив больше всего врачей; один из них сказал даже про чудо. Почти восстановилась речь, и лицо ожило. Сама Розалия Львовна медицинским чудом это бы не назвала, она про себя знала другое, только не говорила вслух, чувствовала, что о ней думают. Сдвиг сознания время от времени все же давал себя знать. Однажды спросила ни с того ни с сего: Дан еще не вернулся? Борис подумал, что она спрашивает об отце, Данииле. Все тот же заскок. Ты же обещал, что он вернется. Нет, оказалось, она спрашивала о том бедняге. Перепутала имя, все путалось в этой бедной головке. Он заверил, что дал старику достаточно денег, должно хватить и на обратную дорогу. Мама с готовностью успокоилась. Вдруг стала нахваливать здешнюю массажистку, эта женщина еще оставалась в палате, когда Борис пришел.

— Посмотри на нее. Волшебница, — говорила трудным полусшепотом, показывая на нее глазами. Та уже собиралась уходить, улыбнулась, обернувшись от двери. На вид немного за тридцать, не более сорока, тонкое лицо с втянутыми уголками рта казалось не смуглым, а загорелым. Белый халат и шапочка не давали разглядеть ее толком. — Ты видел? Это волшебница, — преодолевая остаточное затруднение речи, повторила Розалия Львовна, когда она вышла. — От ее пальцев теплый ветерок, с иголочками. Они еще не прикасаются, а я начинаю себя чувствовать.

Глаза, еще недавно погасшие, живо блестели, в сморщенном маленьком лице проявились черты девочки-подростка. Борис согласно кивал, не вникая — надо было справиться с комком, внезапно подступившим к горлу.

— Она приносит в палату свой воздух. До сих пор еще держится. Ты подыши... вдохни глубже... чувствуешь?

Он послушно вдохнул — и его ноздрей, нёба, гортани коснулся оживший вдруг воздух. Он был настоян на выделениях страдающей горестной плоти, на запахах дезинфекции и лекарств — никогда еще они не были для него так волнующе полноценны. Чувство нежности, жалости, благодарности непонятно кому за неправдоподобное возвращение после уже — не пережитого — принятого к сведению конца, а еще как будто смутной вины переполняло его, и подступало уже не к горлу — к глазам.

4. Вообразите меня

Он дожидался ее у больничного корпуса. Прогуливался взад-вперед по асфальтированной дорожке, провожая взглядом очередного посетителя с полупрозрачным пакетом. Фантазию незачем было напрягать, угадывались апельсины — ритуальное здешнее приношение, сам только что нес маме такие же, было что-то еще домашнее, в промасленной бумаге. Из подъезда выходила служительница в куртке, накинутой на плечи поверх голубой униформы, семенила в сторону соседнего корпуса. Задержалась на крыльце женщина, отбившая скорбное свидание, отирала напоследок глаза и сморкалась в повлажневший платочек для окончательного освобождения. Голуби нехотя уступали дорогу полуботинкам, возвращались доклевать что-то, не разглядишь с высоты роста (и воробьи уже опередили), набросал ли кто съедобные крохи, пренебрегая запретом на антисанитарию, возникала ли пища на серой тверди, самозарождаясь, иначе откуда жизнь. Возникал, проявлялся не существовавший только что для взгляда муравей и тут же исчезал в точечном отверстии, за которым подразумевалось пространство, способное вместить целое племя таких же, с потомством, пусть в виде желтоватых мягких яиц. Возвращалась в безразличное еще недавно измерение никуда, впрочем, не исчезающая жизнь, пустота наполнялась подробным ее веществом — потому ли, что он дожидался женщину?

Изображать случайную встречу не пришлось, и зачем, невелика дипломатия. Была середина весны, когда березы исходят соком, а верба покрывается пушистыми барашками. Она шла рядом с ним медленно, улыбочиво щурясь и чуть приподняв подбородок — подставляя лицо слабому апрельскому солнцу. Ее звали Анита. Шапочка теперь не

прикрывала ее волос, уложенных на затылке простым узлом, он увидел, что они были двухцветные, выгоревшие.

— По вам сразу видно, вы из южных мест, — пристраивался к ее шагу Борис. — Соскучились по солнцу. Для южанки нищая подачка. Но слишком не увлекайтесь, доверчивого оно может обжечь.

Женщина повернула к нему улыбающееся солнцу лицо.

— Розалия Львовна говорила, что вы похожи на вашего отца, — сказала вдруг. — Он при первой встрече сам рассказал ей про нее все, как будто знал.

А, вот оно как! Значит, мама и его ей нахваливала.

— Маму надо слушать с поправками, она живет в своем мире, — усмехнулся. — Отец был эстрадный артист, выступал с эффектными номерами. Находил спрятанные вещи, угадывал мысли. Это называлось психологические опыты. Когда я родился, его уже не было. Я пытался кое-что представить по маминым рассказам, по фотографиям, по газетам, почти ничего не осталось. Сочинить, если угодно. Это ведь мое занятие — сочинять, может, мама и это вам про меня рассказала. (Рассказала, конечно, подтвердил насмешливый голос, она сыном гордится.) У отца были особые способности, я могу только вообразить. Мы все, если угодно, по-своему сочиняем друг друга. Если подумать. Вот я смотрю на вас, слушаю, и вы для меня начинаете проявляться. Пока лишь контурами, неясными, надо их постепенно заполнять. Как вообще можно знать другого? Проникнуть в его жизнь, мысли, воспоминания, сны? Без воображения не обойтись. Дело в желании, в способностях. Чтобы по-настоящему понять, почувствовать друг друга, нам, может, не хватает воображения.

Он сам с интересом вслушивался в свой экспромт. Чего это я так разошелся? — подумал с усмешкой. Захотелось охмурить отнюдь не юную, тихую женщину. Массажистку. Или она не просто массажистка? Так напряженно слушает, чуть приоткрыв рот.

— Хотите, я сейчас расскажу вам про вас? — вдохновлялся он. — Может, у меня и вправду есть что-то наследственное. Иногда кажется.

Она вскинула на него странный взгляд, покачала медленно головой.

— Нет, — улыбка сошла с ее лица. Что-то было в этом лице, вглядывался Борис и не мог сказать, что. — Не надо, — повторила совсем тихо.

— А! — с готовностью подхватил он. — Тоже еще вопрос, хочет ли человек на самом деле по-настоящему все знать? О другом, о себе? О себе, скажет, я знаю. Но если только начнет вникать, углубляться — опомнится. Лучше, скажет, не надо.

Он мысленно опять усмехнулся: рассказать ей сейчас, что произошло недавно с ним, с его обонянием, когда она выходила из маминой палаты, почему захотел дожидаться ее? Удержался. Еще сам не понял, что это было. Как будто испытал на себе что-то рискованное, обошлось. Может быть, потом. Если будет это потом.

— У меня остался не дописанным один рассказ, — увел он разговор в сторону. — Про кинорежиссера, он задумал фильм, который хочет снимать скрытой камерой. Сценарий еще не до конца прояснен, он будет складываться в процессе. Участники не должны чувствовать себя исполнителями, они о съемках не подозревают, живут обычной жизнью. Между тем сам он не подозревает, что кто-то в процессе работы уже снимает его, неожиданно втягивается в действие, как участник чужого сюжета. Считает себя вроде автором, но, оказывается, сам до сих пор не понимает ни происходящего, ни самого себя, своей роли, чем дальше, тем больше оказывается бессильным, беспомощным персонажем. Развитие событий запущено, и он уже не может с ним совладать, обречен в конце концов стать жертвой...

Ему пришлось остановиться, потому что остановилась Анита, внезапно, не перейдя до конца дорогу, подняла к нему лицо, вдруг побледневшее. Он увидел уставленные на себя зрачки, они были расширены, и в них расширялся отсвет неба, заполнял, становился отражением белой стены, из черного пролома прорастала неудержимая зелень. Низко над землей летела толстая пестрая птица, проливая за собой пунктирную красную ленту, вдоль дороги полыхали олеандры и розы, брызнули от круглого отверстия трещины по стеклу, окрашенному в цвет огня...

Сигнал машины заставил их отскочить с мостовой на тротуар. Борис опомнился, мотнул головой, стряхивая видение.

— Откуда вы это знаете? — спросила тихо она.

— Что? — переспросил Борис.

— Про кинорежиссера... про скрытую камеру. У вас и вправду есть такой рассказ?

— А!.. Говорю же, еще не дописал, только померещилось. Там в сюжете возникал еще один мужчина, женщина между ними. На женщину воображения пока не хватило. А почему

вы... Да нет, не слушайте меня, — качнул головой, окончательно отгоняя видение. — Обычное сочинительство.

Они все еще стояли, не возобновляя движения. Анита не отрывала от него взгляд, глаза были широко раскрыты. Он увидел, что они скорее серые, чем карие, увидел заново тонкий очерк лица, оно странно помолодело.

— Вообразите меня, — сказала вдруг все еще без улыбки.

Они шли по улице, и Борис с обновленным, забытым наслаждением вбирал в себя запахи свежей прохлады, подсыхающей весенней пыли, выхлопных газов от редких здесь машин, шли, не замечая трамвайных остановок, да и людей, на оживающем асфальте кто-то оставил призыв: «Лёлик, я хочу к тебе», проступали чертежи давно забытых, казалось, игр, Анита, смеясь, перепрыгивала по квадратам, на одной ноге, на другой, а он распускал перед женщиной павлиний хвост завлекающего красноречия, чувствуя, что какой-то поворот сюжета сам собой завершается, оставшись до конца не осмысленным, перетекает в следующую главу.

5. Тела из чулана

Когда Анита переехала к Борису, он удивился ее небольшому старомодному чемодану. Как будто она переселялась к нему не окончательно, на пробу, все более основательное оставив в местах своего прежнего квартирования. Под твердой открытой крышкой, среди откинутого белья, он мимоходом увидел пластинку, самодельный конверт из грубой бумаги был надорван, отблескивал черный край утолщенного, даже на взгляд тяжелого, старинного диска.

— У меня такие пластинки не на чем прослушивать, — хмыкнул извинительно. — Был старый проигрыватель, но он давно сломался, а в починку такой антиквариат теперь не принимают.

— Не обязательно, — сказала она. — Мне это не обязательно.

По тону он ощутил, что замечать что-то в чужом чемодане, даже нечаянно, было бестактностью, надо бы промолчать. Что-то памятное, семейное, подумал про себя, но вслух ничего произносить не стал. Задавать ей вопросы вообще не стоило, он это быстро понял — инстинктивно замыкались створки, замолкала без объяснений. Потом открывалось что-то само собой, помимо стараний. Драма беженки, изгнанной из искореженного войной зеленого приморского рая,

обитательницы вокзальных отстойников (кучи ветоши или тела на полу, на скамейках, пеленки сушатся на батареях, запах детской мочи, разогретых в кипятнике консервов, женская уязвимость перед прилипчивым взглядом, перед человеком в форме — как откупиться, укрыться?), поиски пропитания, устройства в чужом, безразмерном, чрезмерном городе. И намеком — неизвестное потрясение, чья-то, возможно, гибель или не просто гибель, этой раны касаться было нельзя, не затянулась. О прежней жизни, о работе в каком-то биологическом институте вообще рассказывать, вспоминать не хотела — отрезано, приходилось довольствоваться догадками.

Даже хмель не делал ее разговорчивей. Когда Борис впервые поставил на стол вино, молдавское «Мерло», недорогое, но вполне приличное, она, чуть пригубив, рюмку отставила. Он подумал, что она вообще из непьющих, но вино она, оказывается, очень даже любила. Это, сказала, не настоящее. Я от такого болею. И на другой день принесла бутылку сама, без этикетки, рыночного разлива, вино показалось Борису недостаточно сухим, но так действительно неплохое, свежее. На рынке же она покупала и мясо, и другие продукты, не считаясь с ценой, практика частной массажистки, сверх больничной работы, давала достаточный заработок. Ненастоящим у нее называлось неопределенно все, что могло вызвать не вполне понятную, прихотливую аллергию, астматическое задыхание, кашель, зудящие пятна на коже. Может, потому она совершенно не пользовалась косметикой, да кожа ее была и так от природы ровная, губы вполне яркие, черные длинные ресницы не нуждались в туши. Между тем пыль на книжных полках, заменявших в доме у Бориса стены, ее дыханию не мешала. Ей у него понравилось сверх ожиданий, она хорошо чувствовала себя в этом жилище, давно не знавшем ремонта, сборная, но по-своему стильная мебель, разнородные, купленные по случаю вещи были родственны ее провинциальной старомодности. «Я так всегда хотела: наращивать обстановку вокруг себя, как раковину, своей внутренней химией, по своей мере».

Дома Анита бывала мало, практика у нее ширилась, без выходных, возвращалась обычно совсем вечером. Она и Розалию Львовну продолжала навещать. Мама, похоже, об их отношениях знала. Когда она по телефону рассказывала сыну о визитах Аниты, в ее голосе проступали интонации заинтересованной свахи. Борис знал, она переживала, что он уже скоро под пятьдесят оставался один, без семьи. А ведь

сама когда-то не приняла обеих его жен и потом по возможности отваживала недолгих сожительниц. Может, теперь ее, помимо всего, прельщала возможность заполучить в семью постоянную массажистку, думал он с неясной усмешкой.

Что-то оставалось необъясненным, недоговоренным в самом их стремительном, почти мгновенном сближении. Неожиданной оказалась какая-то невзрослая, застенчивая, потом почти лихорадочная ее взволнованность. Сам он успел забыть, что такое бывает — да может, такого у него и не было. Ему ответную взволнованность приходилось изображать, он поневоле от нее заражался. Когда Анита впервые распустила волосы, они оказались волнистыми, длинными, лицо могло меняться неуловимо. Ничто не шевельнулось, не сдвинулись уголки губ, они еще изображают улыбку — и вдруг гаснет, стареет, куда-то ушло живое сияние глаз, только умом понимаешь, что лицо то же, не восстановишь.

Борис с этой женщиной порой ощущал в себе странную напряженность. От забот о зарплате он неожиданно оказался избавлен, освободилось время для работы, но сознание денежной зависимости для мужского самолюбия оказывалось неудобно. Он несколько напрягался, когда Анита брала с полки его книгу, поглядывал искоса, в профиль, на нее, читающую, пытаюсь представить свой текст ее взглядом. Читала она понемногу, медленно — не увлекалась, значит, отмечал он про себя, но немногословные отзывы потом заставляли подумать, что о таком внимательном чтении можно было только мечтать. Неожиданными оказались ее слова о повести «Хранитель». Там старый, больной философ, чудом выживший лагерник, у которого погибли, оказались уничтожены неопубликованные рукописи, труды всей жизни, перед смертью размышляет об измерении, где должны же сохраняться идеи, мысли, даже нигде не записанные, о возможности хоть когда-нибудь проявить их. Это фантазия о бессмертии, сказала Анита. Они с ней уже сидели на кухне, раскупорили бутылку. Да, именно, с готовностью откликнулся Борис. О бессмертии, если угодно, о смысле жизни или ее бессмысленности. Каждый однажды задумывается над этим, как же без этого? Не все ведь гении, не всем дано оставить после себя творения, музыку, изобретение, хотя бы построенный дом, чтобы пусть не на века, пусть ненадолго, но как-то обозначить свое существование, не совсем, не сразу исчезнуть. Дети, сказала

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru